

Фрагмент из романа

**Lutz Seiler**  
***Kruso***  
***Roman***

Suhrkamp Verlag, Berlin 2014  
ISBN 978-3-518-42447-6

C. 28-44

**Лутц Зайлер**  
**КРУЗО**  
**Роман**

Перевод с немецкого Н. Федоровой



«Но возвращаюсь к моему новому товарищу. Он мне очень понравился...»<sup>1</sup>

*Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»*

### **Маленький полумесяц**

С тех пор как отправился в дорогу, Эд находился в состоянии обостренной настороженности, которое воспрещало ему спать в поезде. Перед Восточным вокзалом — в новом расписании поездов он назывался Главным — было два фонаря, один наискось напротив, у здания почты, другой над главным входом, где стоял развозочный фургон с включенным мотором. Пустынность ночи противоречила его представлениям о Берлине, но много ли он знал о Берлине? Вскоре он вернулся в кассовый зал и прикорнул на одном из широких подоконников. В зале царил такая тишина, что со своего места он услышал тарыхтение отъезжающего фургона.

Эду снилась пустыня. Издалека, от горизонта, приближался верблюд. Парил в воздухе, а четверо-пятеро бедуинов удерживали его, причем, кажется, не без труда. Бедуины были в темных очках и на него внимания не обращали. Открыв глаза, Эд увидел лоснистое от крема мужское лицо, да так близко, что поначалу не мог разглядеть его целиком. Мужчина, вернее старик, вытянул губы трубочкой, будто хотел свистнуть — или только что кого-то поцеловал. Эд мгновенно отпрянул, а поцелуйщик поднял руки:

— О, простите, простите, мне очень жаль, я не хотел... правда не хотел мешать, молодой человек.

Эд потер лоб, влажный на ощупь, и поспешно сгреб свои вещи. От старика пахло кремом «Флорена», каштановые волосы жесткой блестящей волной убегали назад.

— Видите ли, — вкрадчиво начал он, — я как раз переезжаю, переезд большой, а на дворе уже ночь, полночь, слишком поздно и так глупо, ведь из мебели на улице еще остается шкаф, вправду солидный, большой шкаф...

Эд поднялся, а старик меж тем показал на дверь вокзала:

— Тут совсем недалеко, рукой подать до моей квартиры, не бойтесь, пожалуйста, всего четыре-пять минут пешком, спасибо, молодой человек.

---

<sup>1</sup> Перевод М. Шишмаревой.

На минуту-другую Эд воспринял просьбу старика всерьез. Тот теребил его за непомерно длинный рукав свитера, словно норовил увести.

— Ах, пойдите же, пожалуйста! — Он начал потихоньку сдвигать шерстяной рукав вверх, неуловимо, движениями, которые гнездились в самых кончиках его мягких, как сало, пальцев, и в конце концов Эд почувствовал на запястье легкие круговые потирания. — Ты же хочешь пойти...

Едва не сбив старикана с ног, Эд отпихнул его, во всяком случае реагировал слишком резко.

— Уж и спросить нельзя! — проскрипел поцелуйщик, но не громко, скорее прошуршал, почти беззвучно. И пошатнулся он, казалось, тоже наигранно, как бы исполняя небольшой заученный танец. Прическа съехала на затылок, и в первую минуту Эда озадачило, как такое могло случиться, и он испугался, увидев внезапно облысевший череп, который словно неведомый маленький полумесяц парил в сумраке кассового зала.

— К сожалению, у меня сейчас... нет времени. — Эд повторил: — Нет времени.

Быстро пересекая зал, он заприметил в каждом углу боязливые фигуры, которые мелкими знаками пытались привлечь к себе внимание, а одновременно как будто бы старались не афишировать свое присутствие. Один приподнял коричневую дедероновую сумку, показал на нее и кивнул Эду. Выражение лица добродушное, как у Деда Мороза перед раздачей подарков.

В «Митропе» пахло горелым жиром. Едва слышно пели неоновые трубки в витрине, где на электрогрелке стояли всего-навсего несколько чашек солянки. Кое-где из подернутого блекло-серой пленкой супа, точно скалы, выглядывали маслянистые кусочки колбасы и огурцов, от непрерывного притока жара они легонько двигались вверх-вниз, напоминая работу внутренних органов — или пульс жизни, думал Эд, перед самым ее концом. Рука невольно ощупала лоб: вдруг треснул, и настала его последняя секунда.

В ресторан вошли транспортные полицейские. Фуражки блестели короткими полукружьями козырьков, вдобавок васильковый цвет форменных мундиров. С ними была собака, она опустила голову, будто стыдилась своей роли.

— Ваш билет, пожалуйста, и удостоверение.

Тем, кто не мог предъявить проездной документ, надлежало немедленно покинуть ресторан. Шарканье ног, передвижение стульев, несколько благоразумных пьяниц уковыляли вон, молчком, словно им просто полагалось дожидаться этого последнего приглашения. До двух ночи вокзальная «Митропа» осталась почти без посетителей.

Эд знал, что так нельзя, ни под каким видом, но теперь встал и схватил один из недопитых стаканов. Стоя осушил его, залпом. Довольный, вернулся за свой столик. Это первый шаг, думал он, мне на пользу находиться в пути. Уткнулся лицом в сложенные на столе руки, в затхлость старой кожи, и мгновенно уснул. Бедуины по-прежнему возились с верблюдом, но тащили его не в одну сторону, а в разные, между ними, похоже, вообще не было согласия.

Приподнятая дедеронова сумка — Эд не понял, что она означает, но в конце-то концов он впервые проводил ночь на вокзале. И хотя уже почти уверился, что шкафа в действительности не было, воочию видел посреди улицы этот стариканов шкаф и теперь жалел — даже не самого старикана, а все, что отныне будет с ним связано: запах крема «Флорена» и маленький лысый полумесяц. Эд видел, как старикан доплелся до своего шкафа, открыл его и забрался внутрь поспать, и на миг он ощутил движение, каким тот свернулся калачиком и отрешился от мира, ощутил с такой силой, что охотно присоединился бы к старикану.

— Ваш билет, пожалуйста.

Они проверяли его второй раз. Может, из-за длинных волос, а может, из-за одежды, из-за тяжелой кожаной куртки, доставшейся Эду в наследство от дяди, из-за мотоциклетной куртки пятидесятих годов, солидной вещи с огромным воротником, мягкой подкладкой и большими кожаными пуговицами, знатоки называли такие куртки тельмановками (не презрительно, наоборот, скорее в мифологическом смысле), вероятно, потому, что на всех исторических кадрах рабочий вожак изображен в очень похожей куртке. Эд вспомнил: странно бурлящие людские массы, Тельман на трибуне, его торс, то наклоненный вперед, то откинутый назад, его взлетающий в воздух кулак; всякий раз, когда он видел эти давние кадры, его охватывала растроганность, он ничего не мог поделать, рано или поздно набегали слезы...

Не спеша Эд достал маленький, уже помятый клочок бумаги. Под шапкой «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» в клеточках из тонких линий были указаны пункт назначения, день, цена и число километров. Его поезд отходил в 3.28.

— Что собираетесь делать на Балтике?

— Друга навещу, — повторил Эд. — Отдохну на каникулах, — добавил он, потому что на сей раз транспортный полицейский не ответил. Во всяком случае, говорил он твердым голосом (тельмановским), хотя собственное «отдохну на каникулах» сразу же показалось ему слабеньким и неправдоподобным, прямо-таки нелепым.

— Каникулы, каникулы, — повторил транспортный полицейский. Он будто диктовал, и в сером ящичке рации, прикрепленной кожаным ремешком слева на груди, тотчас тихонько затрещало.

«Каникулы, каникулы».

Судя по всему, этого слова было достаточно; оно содержало все, что необходимо о нем знать. Все о его слабости и лживости. Все о Г., его страхе и беде, все о его двадцати неуклюжих стихотворениях из тринадцати сочинений, начатых за сто лет, и все о подлинных причинах этой поездки, которые Эд и сам до сих пор толком не понимал. Он увидел централь, контору транспортной полиции, где-то на верхотуре, над стальной конструкцией этой июньской ночи, васильковую капсулу, застекленную, аккуратно высланную линолеумом, пересекающую бесконечное пространство его нечистой совести.

Он очень устал и впервые в жизни почувствовал, что спасается бегством.

## Трабль

Всего лишь три недели минуло с тех пор, как д-р Ц. спросил, не угодно ли Эду (именно так он выразился) написать дипломную работу о поэте-экспрессионисте Георге Тракле. «Быть может, позднее из этого даже получится нечто большее», — добавил Ц., гордый заманчивостью своего предложения, которое, очевидно, не будет сопровождаться добавочными условиями. И в голосе его не было особых ноток, ни тени сочувствия, какое не раз лишало Эда дара речи. Для д-ра Ц. Эд в первую очередь был студентом, который мог наизусть прочесть любой из рассмотренных текстов. Хотя он и забирался в самый дальний угол семинарской аудитории, а длинные, до плеч, темные волосы свисали ему на лицо, он все ж таки порой говорил, торопливо, долго и четко продуманными фразами.

Две ночи Эд почти не спал, читая о Тракле все, чем располагала институтская библиотека. Литература о Тракле хранилась в последней из ряда узких проходных комнат, где читатель обыкновенно был один и никто ему не мешал. Рабочий столик стоял у окна, глядевшего на крошечный садик и уродливую, затянутую паутиной сараюшку на заднем дворе, где днем обретался институтский завхоз. Вероятно, он и жил там, об этом человеке каких только слухов не ходило.

Нужные книги стояли на самом верху, почти под потолком, без лестницы не обойтись. Не потрудившись сперва сдвинуть лестницу поближе к «Т» и «Тр», Эд поднялся по ступенькам. Неловко наклонился в сторону, начал вытаскивать с полки одну книгу за другой. Лестница заколебалась, стальные крючья, которыми она цеплялась за направляющую, угрожающе заскрипели, однако ж осторожности у Эда не прибавилось, наоборот. Он еще больше наклонился в сторону Тракля, потом еще и еще немного. И вот тогда испытал это ощущение, впервые.

Вечером, сидя за письменным столом, он вполголоса читал стихи. Звуки каждого слова соединялись с картиной просторного, холодного ландшафта, который совершенно пленил Эда, — белый, бурый, голубой, сплошная тайна. Творчество и жизнь Георга Тракля — студент-фармацевт, военный провизор, морфинист и опиофаг. Рядом с Эдом, в кресле, накрытом простыней, спал Мэтью. Временами кот поворачивал ухо в его сторону, временами ухо вздрагивало, резко, несколько раз подряд, словно старое кресло находилось под током.

Мэтью — так его назвала Г. Она нашла котенка во дворе, в световой шахте, крохотного, мяукающего, комок пуха, не больше теннисного мяча. Часа два или три просидела на корточках возле шахты, в конце концов выманила его и принесла наверх. Эд до сих пор не знал, как Г. набрела на это имя, и уже никогда не узнает, разве что сам кот скажет, когда-нибудь.

Ничьей помощи Эд не принял. Посещал семинары и сдавал экзамены, от которых руководитель отделения, профессор Х., легко бы его освободил: сочувственный наклон крупной головы, добродушно-волнистые волосы, белоснежные и блестящие, и ладонь у Эда на плече, когда на институтской лестнице профессор отводил его в сторонку, а главное — бархатный голос, которому Эд с удовольствием бы покорился... Но со знаниями у него проблем не было. И с экзаменами тоже.

Все, что Эд в ту пору читал, запоминалось как бы само собой и слово в слово, каждое стихотворение и каждый комментарий, все, что попадало ему на глаза, когда он в одиночестве сидел дома или за столиком в дальней комнате библиотеки, неотрывно глядя на сараюшку завхоза. Существование без Г. — оно было чем-то вроде гипноза. Когда он выныривал из транса, через некоторое время, в голове жужжало прочитанное. Учеба была лекарством, успокаивала его. Он читал, писал, цитировал и декламировал, и в какой-то момент изъявления сочувствия прекратились, предложения помощи умолкли, озабоченных взглядов не стало. Причем Эд никогда и ни с кем об этом не говорил, ни о Г., ни о своей ситуации. Только находясь дома, он говорил, без конца что-то бормотал себе под нос, ну и, конечно, разговаривал с Мэтью.

После первых дней с Траклем Эд ходил только на занятия к д-ру Ц. Лирика барокко, романтизма, экспрессионизма. Согласно учебному плану такое не разрешалось. Ведь есть учет посещаемости, записи в зачетке. И д-р Ц. не сможет долго игнорировать сей факт. В известном смысле Эд пока что был как бы защищен. Редко случалось, чтобы кто-нибудь из однокурсников попытался взять слово вместо него. Предпочитали слушать его, робея и одновременно с восторгом, будто Эд какое-то экзотическое существо из зоопарка человеческих бед, окруженного рвом боязливого почтения.

После четырех лет совместной учебы у всех в голове сложились определенные картины: Г. и Эд каждое утро рука об руку на парковке перед институтом; Г. и Эд и долгое, нежное, не прекращающееся объятие, пока аудитория медленно заполнялась; Г. и Эд и их ссоры вечерами в кафе «Корсо» (сперва из-за чего-то, потом — из-за *всего*), а после, поздно ночью, бурные примирения, на улице, на трамвайной остановке. Но уже после того, как ушел последний трамвай и домой надо было топтать пешком, три остановки до Раннишер-плац, а оттуда еще немного до дверей. А трамвай меж тем миновал последние повороты последнего рейса по городу, и ночь над Халле наполнял адский скрежет стальных колес, словно предвестье Страшного суда.

Эд — так его называла Г., иногда Эдш или Эде.

Временами (все чаще) Эд взбирался на лестницу, чтобы испытать то ощущение. Он называл его *пилотским*. Сперва дрожь и перестук крючьев. Потом пьянящий ток, содрогание, проникающее до мозга костей, в бедра — напряжение отпускало. Он

закрывал глаза и глубоко вздыхал. Был пилотом в кабине, висел в воздухе, на шелковой нити.

Возле сараюшки завхоза уже который день цвела сирень. Прямо из-под порога поднимался пышный куст бузины. Паутина в дверном проеме висела рваными ошметками, покачивающимися на ветру. Завхоз дома, думал Эд. Порой он видел, как тот бродит по своему одичалому садику или стоит в неподвижности, словно к чему-то прислушивается. В сараюшку он всегда входил очень осторожно, раскинув руки в стороны. И все равно уже при первом шаге раздавалось дребезжание — на полу сплошное море бутылок.

Один из слухов гласил, что завхоз защитил докторскую и некогда работал за границей, даже, говорят, «в НСС<sup>2</sup>». Теперь же он принадлежал к касте изгоев, живших своей жизнью, садик и сараюшка были частью другого мира. Эд пробовал представить себе, что этот человек ел на завтрак. Сперва картинки не получалось, но потом он увидел маленький камамбер («Рюгенский купальщик»), завхоз нарезал его кубиками, на один укус, на старой разделочной доске. Накальывал кусочки сыра на острие ножа и клал в рот, один за другим. Посторонним трудно вообразить, что одинокие люди вообще едят, думал Эд. Для него же самого завхоз был в эту пору единственным реальным человеком, одиноким и покинутым, как и он. На миг Эда захлестнуло смятение, показалось неясным, не с бóльшим ли удовольствием он подался бы под защиту завхоза и его сараюшки, чем под крылышко д-ра Ц.

В 19 часов институтская библиотека закрывалась. Верувшись домой, Эд первым делом кормил Мэтью. Давал ему хлеб, порезанную ломтиками сосиску и немного молока. Раньше этим занималась Г. Эд без устали заботился о Мэтью, но до сих пор так и не понял, что для выживания кошкам нужно не молоко, а вода. Вот его и удивляло, когда кот, стоило выйти за порог, рылся в гидропонном горшке с лимоном. Как вкопанный он замирал на кухне, слушая шорох. Легкий стук, с каким камешки сыпались из горшка на шкаф, а оттуда на пол. Он ничего не мог поделать, только слушал. Не верилось ему, что все это часть его жизни... что все это происходило именно с ним.

## Мэтью

---

<sup>2</sup> Несоциалистические страны.



Потом, накануне его двадцатичетырехлетия, Мэтью пропал. Эд полночи читал, готовился к семинару д-ра Ц. по Брокесу<sup>3</sup>: «Меж тем как я туда-сюда / под сенью дерева брожу...» В какой-то момент он заснул за столом. Утром пошел в институт, через Раннишер-плац до рынка и в направлении университета, по Барфюсерштрассе, то есть Босоногой. На этой узкой, темной улице располагалось «Мерзебургское подворье», куда Эд забегал перед занятиями выпить кофе. Перемазанный жиром текст на обороте меню (возможно, отрывок из старинной хроники) сообщал, что Барфюсерштрассе раньше называлась «У Братьев», затем — «У Нищенствующих Братьев» и, наконец, «У Босоногих», сиречь францисканцев, — странная деградация, приведшая Эда к солидарности с улицей.

Ближе к вечеру Мэтью по-прежнему отсутствовал, и Эд начал звать его. Сперва внизу, во дворе, потом из окна, однако ж так и не услышал короткого, укоризненного «мяу», каким кот обычно откликался.

— Мэтью!

Дворовый запах: словно вдыхаешь давнюю, уже заплесневелую печаль. Печаль из тлена и угля, что жила напротив, в полуразвалившихся сараях, ее непрерывно источали брошенные, навек погребенные вещи. В доме обитали преимущественно *бунайцы*, рабочие с химического завода «Буна», расположенного в южном предместье. Бунайцы — Эду запомнилось, что сами рабочие тоже называли себя этим словом, употребляли его естественно и не без гордости, так подчеркивают свою принадлежность к народу, чья история знаменита, к племени, среди которого родился и можешь не сомневаться, что оно будет существовать еще очень-очень долго.

— Мэтью!

Эд еще постоял у открытого окна, прислушиваясь к крысам. «День рождения, мой день рождения...» — подумал он и снова начал звать Мэтью. Чтобы остаться невидимым, он погасил свет. Напротив, на верху косогора, распласталась длинная кирпичная постройка — дом престарелых. С тех пор как он звал, в окнах теснился народ. Он видел линялые краски рубашек и вязаных кофт и седые волосы, поблескивающие в свете люминесцентных ламп, — стариков интересовало все во дворе, особенно ночью. Зачастую они гасили верхний свет лишь через несколько

---

<sup>3</sup> Брокес Бартольд Генрих (1680—1747) — немецкий поэт, известен своей религиозно-философской лирикой.

секунд. Эд видел лиловый отсвет гаснущих ламп и представлял себе, как они стоят там в потемках, вплотную друг к другу, и как задние дурным, спертым дыханием дышат в затылок впереди стоящим. Может, кто-нибудь из них видел Мэтью? И теперь они тихонько спорят (сперва тихонько, потом громче, потом опять приглушенно, чтобы не переполошить персонал), стоит ли и каким образом доставить записку.

Прошло два дня, а он все еще звал. Поначалу ему было неприятно звать во весь голос, теперь он никак не мог перестать. Каждый час по несколько раз кричал во двор, машинально, почти бессознательно, с холодным от ночного воздуха лицом, маской, прораставшей под корни волос. Сочувствие в доме иссякло. Распахивались и захлопывались окна, слышалась брань, по-халлевски или по-бунайски. В дверь звонили и молотили кулаками.

— Мэтью! Сосисочка, вкусное молочко!

— Пошел ты со своей сосисочкой, ботаник, может, хоть тогда поспим!

Июньский вечер дышал прохладой, но Эд не закрывал окно. Сам того не замечая, сперва чуточку, потом все больше и больше перегибался через низкий подоконник, безопасности ради опоясанный железным прутом. Точно спортивную перекладину, обхватил ладонями ржавый прут и медленно свесился во двор:

— Мэтью!

Голос набрал объема, зазвучал чище и мощнее, низкое, звучное «у»:

— Мэтью-у-у!

В комнате, где-то далеко за спиной, приплясывали по линолеуму кончики ног, а вокруг последних отростков позвоночника растекалось *пилотское ощущение*, с совершенно неведомым, несравненным размахом. Возникло приятное оцепенение, нет, нечто много большее, наслаждение оцепенило его, от макушки до пяток...

— Мэтью-у-у!

Тело не то плыло, не то парило. Он упивался теплой, бархатистой окраской эха внизу, все чуждое там исчезло. Еще раз, осторожно, набрал воздуха, чтобы позвать, и сразу попал в нужный тон, связавший двор, и темноту, и окружающий мир Халле-андер-Заале в одно мягкое, вибрирующее единство, куда ему хотелось окунуться, и сейчас он был совершенно к этому готов...

— Мэтью!

Словно от удара, Эд отпрянул назад, в комнату. Успел еще сделать два шага, потом колени подогнулись, и он рухнул на пол. Это был Мэтью, крик Мэтью. Возмущенный, обиженный вопль или визг, скрип несмазанного шарнира, двери меж этим и тем светом, которая резко захлопнулась и отшвырнула его назад из падения — первый, второй, третий этаж. В глазах было черно, пришлось глубоко втянуть и снова выпустить воздух, незаметно, будто дышит он не по-настоящему, будто вообще уже не дышит.

Немного погодя ему удалось отнять ладони от лица. Взгляд упал на открытое окно.

Кот затаился.

Его там не было.

Когда Эд засыпал, над ним склонилась Г. Была совсем близко и пальцем показывала на свой приоткрытый рот. Губы она при этом растянула в стороны и прижала кончик блестящего язычка к нижним зубам, стоявшим у нее чуть косо, как шибер снегоочистителя: «Мэтью, скажите: Мэ-тью».

Он попробовал увильнуть и спросил, у всех ли учительниц английского во рту такой маленький снегоочиститель, куда так ловко забирается язык.

Г. покачала головой и сунула палец ему в рот.

«Эдгар Бендлер, так вас зовут? Эдгар Бендлер, двадцати четырех лет? Что с вами, Эд? Думаете, дефект у вас врожденный? Тогда скажите *thanks*».

«Thanks».

«Скажите *both of us*».

«Both of us».

Палец у него во рту шевельнулся и объяснил ему все. Все, с чем у него непорядок.

«И еще разок *both of us*, а потом сколько хотите, будьте добры».

«Both, both...»

Недвижный, как маленький черный сфинкс, Мэтью замер подле кровати, чтобы немного понаблюдать, как он медленно, медленно входил в Г., так, как она любила, миллиметр за миллиметром.

## Волльштрассе

Если говорить точно, то его пребывание на Волльштрассе, 18 было не вполне законно. В кирпичной постройке, посеревшей от ежедневных выбросов двух огромных химических заводов, он снимал жилье у одной субарендаторши, то есть был своего рода субсубарендатором. В минимум столетней истории найма этой квартиры существовали и другие субаренды, кое-как скрепленные самодельными, зачастую рукописными договорами, инвентарными описями или соглашениями об использовании подвала и обязательными договоренностями касательно пользования туалетом, о которых никто уже не помнил. Вдали от жилищных управлений и процедур *централизованной сдачи внаем* за долгие годы выросли целые деревья субарендных взаимоотношений, но уже через два поколения съемщиков предшествующие жильцы мало-помалу терялись из виду. Вскоре оставались лишь их фамилии, собранные на почтовых ящиках и дверях, словно поблекшие и исцарапанные гербы далеких городов на долго странствовавшем багаже. Да, так оно и есть, думал Эд, кочуешь по свету в квартирах, как *стареющий багаж*.

Целый день он в полузабытьи бродил по городу. Ужас все еще гудел в голове, и его мучил стыд, в каком-то смысле из-за вопроса, прыгнул он или нет.

Он всё стоял у своей двери, на серой крашеной древесине которой теснилось маленькое стадо пластиковых и латунных табличек. Думал о дедовой трости, которую от набалдашника до острия покрывали блестящие серебряные и золотые значки чужих городов. Позднее эта трость служила деду клюкой. В детстве, еще до школы, то есть в пору величайших открывательских экспедиций, Эд по-настоящему наслаждался, скользя пальцем по блестящим металлическим пластиночкам, от острия трости до набалдашника и обратно, снова и снова, туда-сюда. При этом он ощущал прохладу гербов и, поглаживая чужие города, разбирал, как мог, по буквам их названия, а дед его поправлял:

«А-а-шхх-н. Ашн!»

«М-мм-ме-мец, Мец».

«Шш-шт-штуу, Шштутт, Шштут...»

«Кк-к-коооп-ен-Коопеен...»

Города назывались Ахен или Копенгаген и были расположены в некоем потустороннем мире, по крайней мере казались странно далекими, а может, и вовсе

несуществующими; удивительно, однако ж Эд до сих пор сомневался в их существовании, вопреки рассудку. В конце концов эти значки сделали знакомую фигуру деда чужой и даже самого старика отодвинули вдаль, в давние времена, чью связь с настоящим восстановить уже невозможно. Сходным образом обстояло со Штенгелем, Кольпацким, Аугенлосом и Рустом — так гласили фамилии на Эдгаровой двери, пока что разборчивые. На листке бумаги над дверной ручкой виднелось его имя. Стоявшее ниже было тщательно стерто, но для него оставалось зримым, даже в полной темноте, даже без бумажки и без двери. Он тогда писал карандашом и аккуратно приклеил бумажку, которая успела пойти пузырями и пожелтела по краям.

— Моя странница-дверь, — прошептал Эдгар и повернул ключ в замке.

С одной стороны, вселиие ведомств и острый инструмент *Централизованного распределения жилой площади*, с другой же — никто в доме знать не знал, куда могли перебраться Штенгель, Кольпацкий, Аугенлос и Руст и существуют ли они вообще, что Эд мало-помалу начал считать добрым знаком.

Он открыл кухонный шкафчик, проверил свои скудные припасы. Бóльшую часть отправил в мусорное ведро. Следуя интуиции, открутил печную заслонку. Схватил скоросшиватель с семинарскими записями последних недель, сунул в топку и поджег. Тяга хорошая, бумага вспыхнула мгновенно. Эд взял второй скоросшиватель, потом третий, особо не выбирая. В комнате быстро стало тепло, шамотные кирпичи потрескивали. Он вытащил с полки серую мраморированную папку с писательскими набросками, положил возле печки. Немного погодя поставил папку на прежнее место и открыл окно. Это было искушение.

Весь день Эд наводил порядок у себя в комнате, сортировал книги, скоросшиватели и листки, раскладывал в мало-мальском порядке, словно свое наследие. Заметил конечно же, что дорожит кое-какими вещами, «но только потому, что собрался уезжать», прошептал он. Так приятно нет-нет да и сунуть веточку тихо произнесенной полуфразы в огонь, чтобы тусклый костерок его присутствия не совсем угас.

Мэтью так и не появился.

Мэтью.

Наутро Эд вытащил из печки зольник и отнес к ящику, прикрыв тряпицей, чтобы тонкие, черные хлопья пепла не сдувало на ходу, — так его научил отец. С десяти лет он ходил с ключом на шее, а значит, вернувшись после обеда из школы, должен был топить изразцовую печь. Помимо уборки в подвале и вытирания посуды печь относилась к числу его «маленьких обязанностей», как говорила мать. Почти все с ним связанное она называла уменьшительно — «маленькие обязанности», «маленькие хобби», «ты и твоя маленькая подружка». Такие вот вещи мелькали у Эда в мозгу (и он чувствовал на лбу жар смятения), когда он решил вправду никого не предупреждать. Эдгар Бендлер решил исчезнуть — фраза как из романа.

Он присел на корточки, подмел вокруг печки. Протер тряпкой пол, тусклые красновато-бурые половицы заблестели. А стоптанные ребра порогов и облезлые, стертые места почернели. Черные места задавали вопросы. Почему ты не прыгнул? Что здесь забыл? Ну? Ну? Эд старался ничего не задеть, переставлял ведро осторожно. Он уже чувствовал себя незванным гостем, чужим в давней, некогда своей собственной жизни, как крестьянин без земли. Услышав шаги за дверью, затаил дыхание. Прокрался на кухню, достал из шкафа мегалак<sup>4</sup>, глотнул. Что-то вроде известкового раствора для покрытия слизистых оболочек; с ранней юности он страдал повышенной кислотностью, только и всего.

Лишь под вечер Эд начал паковать сумку. Выбрал несколько книг, большущий коричневый блокнот, который временами использовал как дневник. Громоздкий, непрактичный, но — подарок Г. Подстилку Мэтью и его вонючую миску он отнес вниз, во двор. Разбитое окошко, секунда колебаний, — и все это полетело в темноту сарая.

В обувной коробке с открытками и планами городов нашлась довольно старая карта балтийского побережья. Кто-то по линейке подчеркнул названия некоторых населенных пунктов и синими чернилами обвел береговую линию.

— Вполне возможно, очень даже возможно, Эд, что это твоя работа, — пробормотал Эд. На самом деле он не мог сказать, каким образом эта карта попала к нему, может, от отца.

На прощание он хотел поставить музыку, тихую, очень тихую музыку. Некоторое время, словно в трансе, стоял у плиты, пока не сообразил, что на конфорке пластинку не проиграешь. Конфорка не проигрыватель.

---

<sup>4</sup> Лекарственный препарат.

Напоследок, прежде чем покинуть комнату на Вольштрассе, Эд выкрутил из электрощита предохранители и рядом поставил их на счетчик: один дорогой автоматический предохранитель с кнопкой и два старых, уже посеревших керамических. Секунду-другую сосредоточенно смотрел на блестящее колесико счетчика. Из-за тонких, гипнотизирующих насечек никогда толком не поймешь, вправду ли колесико не крутится. Эд вспомнил, как лет в тринадцать-четырнадцать мать впервые послала его на лестницу сменить предохранитель. Шумы в доме и их гулкое эхо, голоса из соседней квартиры, кашель наверху, дребезжание посуды — этот мир затерялся далеко в бесконечности, когда он отложил в сторону старый предохранитель и страх обернулся неистовым соблазном. Эд видел, как указательный палец медленно, но неудержимо тянется к пустому блестящему гнезду и тычется в него. Впервые он совершенно отчетливо и ясно осознал: под поверхностью, как бы *за жизнью*, царит вечный соблазн, искушение, какому нет равных. Чтобы отвернуться, требовалось твердое решение, и именно так Эд в тот день и поступил.

Он сунул ключ под коврик, а железную дверцу почтового ящика просто прикрыл; в случае чего на бунайцев можно положиться.

### **Привокзальная гостиница**

Еще не сойдя с поезда, Эд почувал запах моря. С детства (по единственной их поездке на Балтику) он помнил привокзальную гостиницу. Она располагалась прямо напротив вокзала, большой, красивый соблазн с эркерами, похожими на круглые башенки, и флюгерами, где даты рассыпались на кусочки.

Он пропустил мимо несколько машин, помедлил. Глупо, особенно что до денег, — таково было возражение. С другой стороны, приезжать на остров во второй половине дня нет смысла, ведь тогда, наверно, не хватит времени, чтобы где-нибудь устроиться — если ему это вообще удастся. У него было около ста пятидесяти марок, если распорядиться ими экономно, можно протянуть три, а то и четыре недели. Девяносто марок он оставил на счету для перечисления квартплаты, до сентября вполне достаточно. Если повезет, никто к его исчезновению не прицепится. Ведь он мог и заболеть. Через три недели начнутся каникулы. Родителям он послал открытку.

Для них он в Польше, в Катовицах, в так называемом Международном летнем студенческом лагере, как прошлый год.

Стойка администратора необычно высокая и совершенно пустая — ни бумаг, ни ключей. Впрочем, много ли Эд знал о гостиницах. Лишь в последнюю секунду из-за стойки вынырнули головы трех женщин, будто поршни четырехтактного мотора, у которого четвертая свеча не сработала. Не выяснишь в точности, из каких глубин вдруг возникли администраторши; может, высокая стойка соединена с подсобкой или за много лет эти женщины просто привыкли как можно дольше оставаться в укрытии, тихонько сидеть за своим барьером с темной обшивкой.

— Добрый день, я...

Голос его звучал устало. В одиночестве купе ему опять не удалось заснуть. Военный патруль, вероятно что-то вроде пограничного авангарда, реквизируя у него карту Балтики. Поезд долго стоял в Анкламе, наверно, там они и начали обход вагонов. Жаль, в голову не пришло ничего умнее, кроме как сказать, что, *собственно говоря*, карта не его... Стало быть, он не может знать и почему некоторые населенные пункты подчеркнуты, а определенные участки береговой линии обведены чернилами... Голос внезапно отказал, вместо этого гул в голове, Брокес, Эйхендорф и снова и снова Тракль, звучавший наиболее неумолимо со своими стихами из листвы и коричневого, вот почему Эд невольно схватился за голову. Жест неожиданный — и один из солдат машинально вскинул автомат.

В конце концов Эд, пожалуй, мог сказать: ему повезло, что они его не забрали. «Странный тип», — проворчал в коридоре солдат с калашниковым. У Эда лоб взмок от пота, мимо тянулись поля, почерневшая трава вдоль железнодорожной насыпи.

— Вы бронировали?

Впервые в жизни он остановился в гостинице. Чудо, что все прошло удачно. Эд получил довольно длинный формуляр на матовой бумаге, у него попросили удостоверение. Пока он кое-как водрузил локоть на высоченную стойку и неловко, не сгибая запястье, заполнял формуляр, администраторши по очереди листали его удостоверение. На секунду Эд безумно испугался, что его тайный отъезд могли по пути автоматически зарегистрировать, на последних, пустых страницах, под визами и путешествиями. *Неразрешенная отлучка* — когда он служил в армии, уже существовал такой маленький, роковой штампель, влекущий за собой самые разные наказания.



— Извините, я в первый раз, — сказал Эд.

— Что? — переспросила администраторша.

Эд поднял голову, попробовал улыбнуться, но перебросить мостик не удалось. Ему вручили ключ, к которому короткой тесемкой был привязан лакированный деревянный кубик. Он обхватил кубик ладонью, запомнив номер. Аккуратно выжженную цифру. И сразу же, как наяву, увидел гостиничного завхоза в его подвальной мастерской: тот сидел перед бесконечной вереницей тщательно напильных, одинаковых по размеру, отшлифованных наждаком кубиков, раскаленным острием паяльника выводя цифру за цифрой, номер за номером. В свое время Эд тоже был рабочим, и по сей день какая-то частица его существа чувствовала себя как дома в мастерских, в берлогах *рабочего класса*, в тех подсобках мира, где вещи утвердили свой четкий, осязаемый контур.

— Третий этаж, лестница слева, молодой человек.

Возле лестницы, над одной дверей, украшенных латунными накладками, поблескивала табличка — «Кофейная». На первой площадке Эд оглянулся; две из трех женских голов уже исчезли, третья женщина, провожая его взглядом, звонила по телефону.

Проснулся он уже в пятом часу. У изножия двуспальной кровати стоял бельевой шкаф. В углу телевизор на хромированной подставке. Над туалетом висел покрытый каплями конденсата чугунный бачок, явно принадлежавший давно минувшим временам. Рычаг смыва изображал двух дельфинов в прыжке. Пока животные не спеша возвращались в исходное положение, сверху низвергался бесконечный водопад. Эд слушал этот шум с удовольствием, испытывая к дельфинам дружеские чувства.

То, что он вошел в гостиницу, сумел спросить и получить комнату (без особых затруднений), наверняка надо отнести к немногим чудесам, которые покуда уцелели, — «не-взи-рая ни на что, не-взи-рая ни на что», пропел Эд в струи душа. Со временем просто забываешь, что такие вещи существуют, по сути, уже и не веришь в них, забываешь, для чего вообще нужна жизнь. Так или примерно так думал Эд. Хотел было поонанировать, но не сумел сосредоточиться.

Справа от гостиницы было озеро с фонтаном, который регулярно устремлялся ввысь, потом опадал и на секунды исчезал. Парочка на водном велосипеде медленно

скользила к фонтану. Когда Эд пересекал дорогу к озеру, его неожиданно охватило *доброе предчувствие*. Все это — начало чего-то. Некто, уже кое-что переживший, оказывается в состоянии... Тут фраза оборвалась. Он осознал, что опоздал с отъездом. Кольнула боль. Словно он только сейчас отходил от наркоза, миллиметр за миллиметром.

Мощеная улица, ответвлявшаяся налево, называлась *Ан-ден-Бляйхен*, «У Белилен». Он миновал несколько обветшалых вилл, с зимними садами, дворами и гаражами. Подошел к одной из табличек со звонками, хотел взглянуть на проделанный домом маршрут. Маленькая храбрая лампочка внутри таблички позволяла прочитать нижние, давным-давно, вероятно уже много лет назад, заклеенные фамилии. Продолжая путь, Эд пытался перенять их ритм: Шиле, Даме, Гламбек, Кригер... Бормотание обернулось мостиком через озеро, а его шаги по деревянному настилу служили как бы метрономом. «Те-что-у-мер-ли-дав-но...» — прошептал Эд и невольно провел ладонью по лицу... видят всё другими глазами? Впереди возникла старинная городская стена, арка и кафе под названием «Дом привратника».

Эд пересек Старый город, вышел к гавани, изучил расписание паромов. В киоске «Белого флота» купил билет на завтра. Вид кораблей наполнил его радостным восторгом. Ступени к набережной, светло-серый бетон, а дальше — море.

Чтобы поесть подешевле, Эд вернулся на вокзал. Он чувствовал себя отдохнувшим и взвешивал свои шансы. Укрытие в море, тайное море, Хиддензе... Он знал тамошние истории. Немолчный рокот омывал этот остров.

Эд тщательно жевал, крохотными глоточками прихлебывая кофе. Во-первых, так просто на паром не попадешь. Во-вторых, найти там жилье едва ли возможно, но *внутри границ* ни о каком другом месте даже речи быть не может. Конечно, от знатоков он слышал, что, по сути, Хиддензе лежит уже за рубежом, экстерриториально, остров блаженных, мечтателей и фантазеров, неудачников и изгоев. Были и такие, что называли его северным Капри, где всё заказано и раскуплено на десятилетия вперед.

В Халле Эд познакомился с историком, который всю зиму работал официантом в «Оффенбах-штубен», винном ресторане, где он и Г. несколько раз бывали, сидели в баре. Каждую весну, в начале сезона, Историк (так его до сих пор называли) возвращался на остров. «Наконец-то, наконец! — Так он восклицал, обращаясь к посетителям, которые снисходительно кивали, когда он приступал к очередному

панегирику, по обыкновению именуя публику «Оффенбах-штубен» любезными друзьями. — На этом острове, любезные друзья, есть все, что мне нужно, все, о чем я всегда мечтал, уже когда он возникает на горизонте, с палубы парохода, его скромный хрупкий вид, его тонкие очертания, а за спиной еще последний серый гребень суши, Штральзунд с его башнями, весь глубокий тыл с его мерзостью, ну, вы, любезные друзья, понимаете, о чем я... любезные друзья, едва остров возникает, как все это мгновенно забывается, ведь теперь впереди он, и начинается что-то новое, да-да, уже там, на пароходе! — восторженно рассуждал этот человек, седой, лет сорока пяти от роду, уволенный из университета, по собственному желанию, как говорили, и тем глубже погруженный в мечты; подобно многим соотечественникам-философам, он носил окладистую марксовскую бороду. — По сути своей, любезные друзья, свобода заключается в том, чтобы в рамках существующих законов придумывать свои собственные, быть одновременно объектом и субъектом законодательства — вот главная черта жизни там, на севере». Такой вывод делал Историк из «Оффенбах-штубен», прижимая к груди специальный поднос с кувшинчиками вина.

Самая важная для Эда информация гласила, что рабочие места могут вдруг освободиться и в разгар сезона. Неожиданно ищут официантов, судомоев, кухонный персонал. Сезонники иной раз неожиданно исчезали, по самым разным причинам. Как правило, тут рассказчики умолкали, чтобы бросить взгляд на своего визави, а затем, смотря по ситуации, продолжить в одном из возможных или невозможных направлений: «Ясное дело, всегда хватает людей, которые сдаются, возвращаются на континент, просто не созданы для такого». Или: «Знаешь, вдруг разрешают выезд, прямо среди лета...» Или: «Конечно, трудно поверить, пятьдесят километров, но хорошие пловцы всегда найдутся...» В конце всех разговоров Хиддензе казался узким клочком земли, осиянным мифическим блеском, последним, уникальным местом, островом, который уплывал все дальше, исчезал из виду, — надо поторопиться, если хочешь туда попасть.

Из ресторана Эд вернулся в гостиницу. Кто-то покопался в его вещах, но ничего не пропало. Он подошел к окну, посмотрел на вокзал. А в постели начал звать Мэтью — рецидив. Но звал очень тихо и только, чтобы еще раз перед сном услышать свой голос. Нет, голос не треснул.